

М. Д. КАГАН и Я. С. ЛУРЬЕ

### «Московский период» в «Истории русской литературы» А. Стендер-Петерсена

В первом томе «Истории русской литературы» известного датского слависта А. Стендер-Петерсена<sup>1</sup> «московский период» занимает значительное место. Первый том книги состоит из трех частей («Древнерусский период», «Московский период» и «Период классицизма»; «московскому периоду» (XV—XVII вв.) посвящена вторая, средняя, часть тома.

«Московский период» для автора лишь один из этапов истории русской литературы. Сильной стороной всего труда А. Стендер-Петерсена является продуманная последовательность изложения, ощущение общей идеи, проходящей через всю книгу. В центре внимания исследователя — история развития художественного мастерства русских писателей; именно с этой точки зрения подходит он и к писателям древней Руси. Во «Введении» к своей работе А. Стендер-Петерсен справедливо отвергает представление о существовании непроходимой (в частности, языковой) грани между древней и новой русской литературой (Введение, V—VI); он указывает, что главное отличие между литературой до и после XVII в. заключается в том, что до этого периода литература «смирно отказывалась от собственной функции», подчиняясь иным (деловым и религиозным) целям; с XVII в. литература как искусство становится «суверенной силой» (320). Значение «московского периода», по мнению А. Стендер-Петерсена, в том и заключается, что к концу этого периода происходит указанная трансформация.

Во «Введении» автор оговаривает, что он сознательно ограничивал вводимый в книгу материал, стремясь, так сказать, к «горизонтальной линии» изложения, лишь иногда перебиваемой «вертикальными» монографическими отступлениями (VII). Само по себе такое подчинение выбора материала определенной схеме не представляется нам недостатком.

Та или иная схема (и связанная с ней схематизация изложения) необходима в любой работе; вопрос заключается лишь в том, является ли эта схема научной и охватывает ли она весь основной материал вопроса, не противоречит ли она важнейшим фактам и не искажает ли их. Именно с этой точки зрения мы хотим разобрать концепцию А. Стендер-Петерсена о литературе «московского периода».

А. Стендер-Петерсен занимается исследованием художественной формы древнерусской литературы, но он отказывается от какой-либо «догматической связи» с формализмом как теоретическим направлением (V). Ему не чужд интерес к историческим предпосылкам развития литературы, в том

---

<sup>1</sup> Adolf Stender-Petersen. Geschichte der Russischen Literatur, Bd. I. München, 1957 (первое издание книги вышло на датском языке).

числе и к социальной борьбе как одному из важных исторических факторов. Однако взаимоотношение между движением истории и развитием литературы автор понимает своеобразно и весьма односторонне. Литература (в данном случае древнерусская литература) рассматривается им как некое единое целое; от времени до времени историческое развитие оказывает на литературу определенное воздействие, как бы подталкивает ее; литература изменяется, но после некоторого периода колебаний продолжает развиваться как новое единое целое, в единой стилистической системе.

Так, объединение Москвой русских княжеств в единое государство приводит к развитию пышного византийского стиля в русской литературе. Основателями этого стиля А. Стендер-Петерсен считает Киприана, Епифания Премудрого, Пахомия Логофета; из стилистической системы этих авторов он выводит всю литературу XV—XVI вв. — летописание XVI в., энциклопедические предприятия макарьевской школы, «Домострой», «Стоглав», «Степенную книгу», творчество Ивана Грозного и т. д. Некоторые противоречия с господствующей стилистической системой А. Стендер-Петерсен усматривает, правда, в «Повести о Царьграде» Нестора-Искандера, «Казанской истории» и «Повести о приходе на Псков Стефана Батория», но памятники эти, по его мнению, не могли разрушить общую стилистическую систему «византизма». Существенные изменения в литературе происходят лишь под влиянием «смуты» начала XVII в., бывшей в свою очередь следствием политики Ивана IV.

События «Смутного времени» приводят к созданию новой социальной системы и возникновению новой духовной жизни, которую в отличие от старой Стендер-Петерсен называет «новой московской культурой». XVII век, по его мнению, является «самым деятельным во всей истории русской литературы» (320). Именно в это время происходит переход от одной литературной системы — византийской к другой системе — европейской. Черты новой системы Стендер-Петерсен видит в секуляризации и индивидуализации литературы, в переходе от средневековых форм к новым, в проникновении в русскую литературу западноевропейского понятия жанра. Точно установленные художественные жанры — драма, лирическое стихосложение, прозаический роман и новелла сменяют древнерусские жанры жития и летописи.

Итак, исторические события (в том числе социальная борьба) оказывают влияние на развитие литературы, но лишь как внешняя сила, от времени до времени порождающая своеобразные «катастрофы» в литературе. Но происходила ли социальная борьба внутри самой литературы, боролись ли внутри древнерусской литературы различные художественные направления, связанные с различными общественными группами? А. Стендер-Петерсен говорит о «великомосковской идеологии», как о «нетерпимой, антипротестантской, антигуманистической и антиеретической» (114); он упоминает о том, что работа макарьевской школы развивалась в то время, когда в Москве «как отголосок победоносного шествия реформационных идеалов в Западной Европе выступала критика против самой сущности московской культуры и против мирского могущества и хозяйственного значения церкви» (187). Но отразились ли эта критика и деятельность тех слоев, с которыми боролась официальная идеология, в литературе, Стендер-Петерсен не говорит; по всей видимости, существования литературы, противостоящей господствующей линии, он не признает. Говоря о сатирической литературе XVII в., автор указывает, правда, что «новомодная сатирическая или общественно-критическая тенденция пустила корни в определенных кругах читающей публики, прежде всего в среде горожан и городского служилого класса» (300), но выводит эту литературу он из западных пере-

водов; городские слои населения (и то лишь в XVII в.!) оказываются для нее только своеобразной питательной средой.

И тут обнаруживается существеннейший недостаток рецензируемой книги — удивительная ограниченность репертуара исследуемых памятников. Можно составить целый список выдающихся памятников литературы «московского периода», которые совсем не учтены в труде А. Стендер-Петерсена. Это «Хождение за три моря» Афанасия Никитина, «Повесть о Дракуле», «Повесть о Динаре», все летописные повести и вообще все летописание до середины XVI в., «Новая повесть», легендарно-исторические повести — «Повесть о начале Москвы», «Повесть о Тверском Отрочем монастыре» и др. А между тем эти произведения (во всяком случае многие из них) отличает одна характерная черта: они резко противостоят традиционно-житийной или официально-панегирической литературе и далеко не всегда связаны с господствующими социальными слоями московского общества. Говоря о происхождении литературы такого рода (как и посадской повести XVII в.), нельзя обращаться только к византийским или западноевропейским корням и совершенно необходимо вспоминать об устном народном творчестве как об одной из основ письменной литературы. Этого вопроса А. Стендер-Петерсен не ставит; о связи литературы с фольклором в «московский период» в его труде почти не упоминается. Во «Введении» А. Стендер-Петерсен даже специально оговаривает это обстоятельство (правда, только применительно к истории поэзии). Он объясняет это тем, что фольклор имеет свои собственные, отличные от письменной литературы законы развития и что история устной народной поэзии недостаточно исследована (VIII). Однако, как ни сложна история устной поэзии и фольклора вообще, игнорировать постоянное и систематическое влияние устного творчества на литературу нельзя: ведь именно в фольклоре впервые произошло освобождение искусства слова от его служебных функций, и превращение письменной литературы в искусство (зарождение беллетристики) просто невозможно понять без привлечения фольклорного материала. Если А. Стендер-Петерсен считает возможным учитывать при исследовании русской литературы византийское и западноевропейское влияние (хотя внутренних законов развития византийской и западных литератур он в своем труде не касается), то тем более ему следовало бы учитывать влияние устного народного творчества.

Сильное влияние народного творчества и народной языковой культуры испытывали не только литературные представители горожан и мелкослужилых элементов русского общества, но и те публицисты, которые были связаны с господствующей религиозно-феодалной идеологией. История публицистики XV—XVII вв. излагается А. Стендер-Петерсоном крайне неполно. В начале главы «Идеологическая литература» автор специально оговаривается, что публицистика «сама по себе (an und für sich) совсем не относится к истории русской литературы» (202), и делает поэтому исключение только для макарьевской школы — И. С. Пересветова, Ивана Грозного и Курбского. Но древнерусская литература не знала никакого различия между публицистикой и литературой «самой по себе» — вся письменность имела деловое назначение; если автор широко освещает творчество Епифания Премудрого, Пахомия, Макария и деятелей макарьевского кружка, то у него нет никаких оснований игнорировать публицистику Иосифа Волоцкого, Вассиана Патрикеева и Даниила. Творчество этих публицистов никак не укладывается в рамки «пышно-византийского стиля» — черты просторечия мы обнаруживаем не только в блестящих по своему остроумию и язвительности сочинениях Вассиана Патрикеева, но и у таких «ортодоксов», как Иосиф и Даниил. Крайне односторонняя и оценка Ивана IV как писа-

теля, данная автором. В творчестве Грозного он усматривает только выражение официально-московской «неуклюжести» в соединении с грубостью. Яркий «кусательный стиль» Грозного, его литературное новаторство, широкое использование им чисто разговорной интонации в литературных памятниках — все это осталось вне сферы внимания автора.

Стремление А. Стендер-Петерсена уложить русскую литературу XV—XVII вв. в прокрустово ложе схемы «византизм—европеизм» приводит его к ряду сомнительных утверждений. Как мы уже знаем, виднейшим представителем «византизма» в московской литературе автор считает Пахомия Логофета. В качестве одного из основных произведений Пахомия А. Стендер-Петерсен называет «Сказание о князьях владимирских» (181); это дает ему в дальнейшем основание говорить о влиянии Пахомия на «Историю о Казанском царстве» (196) и на творчество Ивана Грозного (211). Но мысль о принадлежности «Сказания о князьях владимирских» Пахомию есть даже не гипотеза, а догадка И. П. Жданова, ничем, в сущности, не мотивированная автором; И. П. Жданов указывал только, что «деятельность Пахомия продолжалась до 80-х и, может быть, даже до 90-х годов XV столетия» и что «хронологических затруднений для этой догадки о Пахомии нет».<sup>2</sup> Но А. Стендер-Петерсену известна работа о «Сказании о князьях владимирских» Р. П. Дмитриевой, вышедшая в свет в 1955 г.; работу эту он приводит в списке рекомендованной им литературы (450); а между тем в этой работе с несомненностью доказано, что в основе известного нам текста «Сказания о князьях владимирских» лежит «Послание о Мономаховом венце» Спиридона Саввы, адресованное Василию III и написанное, следовательно, уже в XVI в.; «Сказание о князьях владимирских», таким образом, написано еще позже.<sup>3</sup> Для того чтобы столь решительно вновь приписывать «Сказание» Пахомию Логофету, А. Стендер-Петерсену следовало бы опровергнуть мнение своего предшественника и привести какую-то новую аргументацию.

Другим основанием для того, чтобы говорить о глубоком влиянии Пахомия на литературу «московского периода», служит для А. Стендер-Петерсена Хронограф. В редакции XV в. Хронограф не дошел до нас, но известным нам редакциям XVI в., как справедливо указал А. А. Шахматов, предшествующая какая-то более ранняя редакция XV в. Поскольку в языке Хронографа встречаются сербизмы, А. А. Шахматов высказал предположение (опять-таки только предположение!), не был ли составителем его Пахомий.<sup>4</sup> А. Стендер-Петерсену этого предположения оказалось достаточно для того, чтобы выводить от Пахомия всю историю русского летописания XVI в. (Воскресенская, Никоновская летописи, Лицевой свод), совершенно игнорируя летописные своды конца XV в. (прямо и непосредственно повлиявшие на летописи последующего столетия), а также хронографы и летописи XVII в. В его труде даже не упоминаются великокняжеские своды Ивана III, Симеоновская, Типографская, Софийская II и другие летописи конца XV—начала XVI в. А между тем отдельные повести, включенные в эти своды (например, повесть об Угре), представляют большой интерес как памятники литературы. Приводя известный рассказ о падении Пскова из Псковской I летописи, А. Стендер-Петерсен характеризует его просто как «антимосковский», направленный против Василия III (199). А между тем летописный свод, откуда взято приведен-

<sup>2</sup> И. Жданов. Русский былевой эпос, I—V. СПб., 1895, стр. 109—112.

<sup>3</sup> Р. П. Дмитриева. Сказание о князьях владимирских. М.—Л., 1955, стр. 14—72.

<sup>4</sup> А. А. Шахматов. К вопросу о происхождении Хронографа. СПб., 1899.

ное известие (свод 1547 г. — по определению А. Н. Насонова), не может рассматриваться как памятник феодально-сепаратистской идеологии: перед нами летопись, стоящая на почве безусловного признания великокняжеской власти, но враждебная к московским кормленщикам — наместникам;<sup>5</sup> памятник, отражающий воззрения тех самых городских кругов, которым так мало посчастливилось на страницах труда А. Стендер-Петерсена.

Весьма односторонне охарактеризовав «Сказание о князьях владимирских», А. Стендер-Петерсен почти совсем не коснулся других легендарно-исторических памятников, дававших обоснование идеи «московского царства». Он указал только, что «представления о третьем Риме и Повести о Вавилонском царстве образуют флорид, на котором надо рассматривать труд Пахомия («Сказание о князьях владимирских»)» (181). Однако послания Филофея о третьем Риме были написаны (как доказал уже В. Малинин) не ранее XVI в.<sup>6</sup> а в цикле «Повестей о Вавилоне» место о царских регалиях, действительно перекликающееся со «Сказанием о князьях владимирских», представляет собой явную интерполяцию XVII в.<sup>7</sup> Изучение памятников идеологии Русского централизованного государства, действительно относящихся к концу XV в., показало бы автору, что идеи независимого и единого «московского царства» возникли, как это ни парадоксально, в тех самых кругах, с которыми, по его словам, боролась антигуманистическая и антиеретическая «великомосковская идеология».

Чрезвычайно односторонний подход к литературе XV—XVI вв. затруднил для автора и характеристику литературы XVII в., занимающей особенно важное место в его построении. В этом отношении заслуживает внимания один любопытный хронологический сдвиг, обнаруживающийся в рецензируемой книге. Только в одном из последних параграфов своего повествования о «московском периоде», рассказав об основных памятниках литературы XVII в. и говоря об «отечественных корнях» русского романа, А. Стендер-Петерсен вспоминает о «Житии Петра и Февронии» — памятнике, возникшем не ранее середины XVI в., отмечая «реалистические воззрения» его автора и связь этого памятника с народными сказаниями (309—310). А. Стендер-Петерсен считает автором этого произведения писателя-публициста первой половины XVI в. Ермолая-Еразма,<sup>8</sup> но он ничего не говорит о других произведениях этого писателя и о его месте в литературе своего времени. Если бы автор рассказал об этом памятнике и о многих других памятниках, никак не подходящих к его представлению о «пышном византизме» русской литературы XV—XVI вв., в соответствующем месте книги, то более подготовленным и понятным стал бы для читателя и перелом в литературе XVII века.

<sup>5</sup> Псковские летописи, вып. 1. Подготовил к печати А. Н. Насонов. М.—Л., 1941, стр. 92—97. Ср.: А. Н. Насонов. Из истории псковского летописания. — ИЗ, 1946, т. 18, стр. 268—270; Н. Н. Масленникова. Присоединение Пскова к Русскому централизованному государству. Л., 1955, стр. 86—95.

<sup>6</sup> В. Малинин. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. Киев, 1901, стр. 374—383. Ср.: Н. Н. Масленникова. Присоединение Пскова..., стр. 152—154.

<sup>7</sup> М. О. Скрипиль. Сказание о Вавилоне граде. — ТОДРА, т. IX. М.—Л., 1953, стр. 128—129.

<sup>8</sup> Следует отметить, что вопрос об авторстве Ермолая-Еразма является спорным в литературе; ряд авторов относит этот памятник к XV в. и еще теснее связывает с фольклором: М. О. Скрипиль. Повесть о Петре и Февронии Муромских в ее отношении к русской сказке. — ТОДРА, т. VII. М.—Л., 1949, стр. 131—167; Д. С. Лихачев. Человек в литературе древней Руси. М.—Л., 1958, стр. 104—108. Ср.: А. И. Клибанов. Повесть о Петре и Февронии как памятник русской общественной мысли. — ИЗ, 1959, т. 65, стр. 303—315.

Развитие литературы в XVII в. очень слабо связано в «Истории» Стендер-Петерсена с историческим процессом. Вся историческая обстановка XVII в. рассмотрена во «Введении» (§ 11 — «Die Zeit des Smuta»), после чего автор к ней уже не возвращается. Однако «Введения» этого явно недостаточно для характеристики всего XVII в., так как оно ограничивается описанием крестьянской войны и интервенции первого десятилетия, закончившихся избранием на престол Михаила Романова в 1613 г. (при этом ничего не сказано о роли народных ополчений, о Минине и Пожарском). Упомянув вскользь об Уложении 1649 г. и окончательном закреплении крестьян, Стендер-Петерсен переходит сразу к реформам Петра I.

Связь литературы с общим историческим развитием нарушена еще и тем, что А. Стендер-Петерсен располагает произведения XVII в. не в хронологическом порядке, а в соответствии со своей схемой. Сначала им рассматриваются произведения, не подвергшиеся еще западноевропейскому влиянию: произведения «Смутного времени» (всей первой четверти XVII в.), московское стихосложение, «Писание о преставлении и погребении князя Михаила Васильевича, рекомого Скопина», «Азовская повесть», жития Никона и Аввакума. Дальнейшие изменения в литературе Стендер-Петерсен теснейшим образом связывает с идеями, проникающими в Москву с Запада. Так как западноевропейские произведения попадают на русскую почву, как правило, в польских переводах через польско-украинское влияние, то центральное место отводится Стендер-Петерсеном характеристике западнорусской культуры и западнорусской литературной жизни, а также западнорусскому силлабическому стихосложению и драматургии. Только после этого он обращается к драматургии московской, духовной и светской. Следующие параграфы посвящены переводной литературе XVII в. и только последние два — оригинальной русской прозе или, как называет ее Стендер-Петерсен, московскому роману, куда включаются такие произведения, как повести об Иулиании Лазаревской, о боярыне Морозовой, о Савве Грудцыне, Фроле Скобееве, Карпе Сутулове и фактически уже произведения XVIII в.: «История о российском матросе Василии Кариотском», «История об Александре, российском дворянине» и «История о российском купце Иоанне». Русская сатирическая литература попала у Стендер-Петерсена в раздел о переводной литературе и поставлена им после фацеций и польских жарг.

Обращает на себя внимание еще одна особенность изложения литературы XVII в., связанная с общим построением темы у А. Стендер-Петерсена. Стихосложение и драматургия в системе расположения материала, да, пожалуй, и по количеству посвященных им страниц, преобладают над прозой.

Общая картина литературы XVII в. представляется Стендер-Петерсену пестрой и хаотичной, «своеобразной смесью канцелярского языка с архаическим хроникальным и церковным языком», сочетанием «объективного изображения действительности с фантастической картиной мира авантюрных романов, циничного отношения к жизни с любовной чувствительностью, деликатности с неотесанными правами». Эти различные «элементы» лежат непосредственно и без взаимной связи друг возле друга, что, по мнению Стендер-Петерсена, очень характерно для культурного и социального хаоса, господствовавшего накануне петровской реформы (316).

Повести «Смутного времени» относятся в изложении Стендер-Петерсена к числу произведений, еще не подвергшихся непосредственно западному влиянию. Все они, за исключением только повести Катывева-Ростовского, подчиняются еще старым литературным нормам, близки к летописям, авторы их пишут украшенным риторическим стилем. Новым в этих произведе-

ниях является, по мнению Стендер-Петерсена, то, что официальные государственные или церковные тенденции проводятся в них индивидуально. К сожалению, это положение осталось неразвернутым Стендер-Петерсеном при конкретном анализе произведений. Исключая публицистику как таковую из истории русской литературы, он не отмечает агитационного публицистического характера произведений «Смутного времени», определенной политической тенденции каждого из них. В анализе Стендер-Петерсена не нашли своего отражения очень интересные особенности произведений «Смутного времени»: характеристики царей, стремление увидеть в одном человеке и плохие и хорошие черты, попытка объяснить причины смуты не только наказанием за грехи, но и трактовка этих грехов как грехов гражданских — знаменитое «всею мира безумное молчание» Авраамия Палицына, «бессловесное молчание» дьяка Ивана Тимофеева.

Произведения, обсуждающие события «Смутного времени», делятся Стендер-Петерсеном не по времени их написания, не на современные «Смуте» и написанные уже после ее окончания, а на произведения авторов духовных и светских. Стендер-Петерсен отмечает постепенный переход литературной работы из духовных рук в светские. Нам, однако, такое деление кажется мало обоснованным автором. Остается непонятным, каковы же принципиальные отличия, например, «Словес дней и царей» Хворостинина от «Сказания» Авраамия Палицына, так как специфических особенностей светских произведений Стендер-Петерсен не указывает. Такое деление выглядит еще менее убедительным из-за отнесения к духовным произведениям «Временника» дьяка Ивана Тимофеева — несомненно автора светского.<sup>9</sup> В то же время не упомянуты автором явно церковные произведения, написанные в жанре «видений».

Произведения «Смутного времени» приведены Стендер-Петерсеном в его «Истории русской литературы» неполно. Не получила отражения официальная линия литературы, представленная для этого времени Грамотой Утвержденной и Новым летописцем,<sup>10</sup> а также и неофициальная, а возможно, и враждебная первой линии, представленная такими произведениями, как «Новая повесть о преславном Российском царстве», написанная в стиле «подметного письма», и сатирическими стихами «Послание дворянина к дворянину». Все эти произведения не включены Стендер-Петерсеном в репертуар литературы XVII в.

Одностороннее и неполное освещение получил у Стендер-Петерсена и анализ творчества одного из значительнейших писателей второй половины XVII в. — протопопа Аввакума. Автор отмечает его активную враждебность по отношению к новому ученому духу и иностранному красноречию, считает его автобиографическое «Житие» последним значительным произведением русской агиографии. Однако анализ этого «Жития» приводит Стендер-Петерсена к противоречию с принятой им самим схемой развития русской литературы в XVII в. Ярого противника «европеизма», «знаменосца традиций» Аввакума он признает новатором в литературе, носителем нового стиля прозы. По мнению Стендер-Петерсена, творчество Аввакума с характерным для него противоречием между старыми идеями и новым способом их выражения говорит о том, что старой Руси приходит конец и на смену ей идет новая Русь. В связи с этим возникает вопрос: так ли

<sup>9</sup> Временник Ивана Тимофеева. Изд. АН СССР, М.—Л., 1951, стр. 352.

<sup>10</sup> Б. М. Боровский. История русской литературы, т. II, ч. 2. М.—Л., 1948, стр. 45—47 (автор называет Грамоту Утвержденную «Повестью о Романовых»); Л. В. Черепнин. Смута в историографии XVII в. — ИЗ, 1945, т. 14, стр. 80—128.

необходимо новые литературные явления этой новой Руси связывать с европейским влиянием?

Рассматривая литературную деятельность Аввакума, Стендер-Петерсен останавливается только на его «Житии», не касаясь более семидесяти остальных его произведений. Тем самым в стороне осталась вся полемическая и агитационная деятельность Аввакума, чьи произведения проникали из Пустозерской тюрьмы в самые широкие слои народа.<sup>11</sup> В этом плане язык Аввакума, связанный с разговорной речью, «мирской», «народный», такой же, как «язык народных песен», «диалектологический» и «варварски вульгарный», как характеризует его Стендер-Петерсен, является не противоречащим идеям его произведений, далеко выходящим за пределы догматического спора, а вполне соответствующим общему характеру творчества Аввакума и агитационным задачам, стоявшим перед ним.

Мы упоминали уже о том, что А. Стендер-Петерсен отказывается от рассмотрения влияния фольклора на письменную литературу из-за неизученности вопроса. Однако для XVII в. тема эта оказалась настолько важной, что, несмотря на оговорку, вопрос о фольклоре был Стендер-Петерсеном все-таки поставлен. Если в XVI в. письменная литература, носившая церковный характер, относилась, по мнению автора, к фольклору враждебно, как к языческому и баснословному, т. е. еретическому, то в XVII в. границы между письменной литературой и устным народным творчеством ломаются и письменная литература все чаще прибегает к темам, родившимся в фольклоре. «Народные песни — общая собственность, не только собственно народа, но, и особенно, знатного московского боярства и аристократии» (229—230). Такова постановка вопроса. Конкретно же Стендер-Петерсен называет только два произведения XVII в., испытавшие на себе влияние фольклора. Это «Писание о преставлении князя Михаила Скопина» и «Повесть об Азовском сидении донских казаков».

Следует сразу же указать на неточность автора, не упомянувшего о существовании цикла повестей об Азовском осадном сидении, состоящего из пяти произведений, связанных друг с другом своей литературной историей. Выбрав из всех повестей для рассмотрения только одну («Поэтическую»), Стендер-Петерсен не объяснил, почему он в данном случае не обращается к «Исторической» и «Сказочной» повестям.<sup>12</sup>

Остается неясным, почему Стендер-Петерсен исключает из сферы влияния фольклора другие произведения XVII в., и в частности всю демократическую сатиру этого времени, тем более что влияние это рассмотрено в работе В. П. Адриановой-Перетц, указанной Стендер-Петерсеном в списке использованной литературы.<sup>13</sup>

Считая сюжет «Повести о шемякином суде» заимствованным из иностранных источников, «Повесть о Ерше Ершовиче» — новеллой в стиле западноевропейского романа о лисице (*Roman de Renard*), а «Повесть о Карпе Сутулове» — повторяющей один из восточных мотивов из «Тысячи и одной ночи», Стендер-Петерсен не отмечает другую высказанную в советской научной литературе точку зрения, связывающую это направление в русской литературе с бытом и житейской практикой демократической

<sup>11</sup> В. Л. Комарович и Д. С. Лихачев. Протопоп Аввакум. — В кн.: История русской литературы, т. II, ч. 2. Изд. АН СССР, М.—Л., 1948, стр. 305.

<sup>12</sup> История русской литературы, т. II, ч. 2. Изд. АН СССР, М.—Л., 1948, стр. 257—270; Воинские повести древней Руси. Под ред. чл.-корр. АН СССР В. П. Адриановой-Перетц. Изд. АН СССР, М.—Л., 1949 (серия «Литературные памятники»), стр. 175—243.

<sup>13</sup> В. П. Адрианова-Перетц. Очерки по истории русской сатирической литературы XVII в. Изд. АН СССР, М.—Л., 1937, стр. 258—259.

среды города и деревни и изучающую его в теснейшей зависимости от устного народного творчества.<sup>14</sup>

Постановка вопроса о роли фольклора в русской литературе XVII в. кажется нам в работе Стендер-Петерсена особенно неудачной. Не отрицая в целом влияния устного народного творчества на письменную литературу, Стендер-Петерсен тем не менее совершенно опустил целую группу произведений, в большой или меньшей степени это влияние отразивших. Так, в истории литературы не нашли себе места «Сказание о киевских богатырях», «Повесть о Сухане», «Повести о начале Москвы», «Повесть о Тверском Отроче монастыре», «Сказание о молодце и девице», «Повесть о купце, купившем мертвое тело» и др.

Возникновение в XVII в. русской беллетристики — одна из важнейших и интереснейших литературоведческих проблем, которую пытается осветить А. Стендер-Петерсен в своей «Истории». Он говорит, что традиционные течения литературы «московского периода» могут рассматриваться отчасти как ветви агиографической прозы, отчасти как стиль народных песен, влияющих на эпическую литературу (309).

В дальнейшем исследовании это положение раскрыто автором не полностью. Если биографии Аввакума, Иулиании Лазаревской, боярыни Морозовой еще являются по своему происхождению житиями и смыкаются в какой-то степени с агиографией, то где же надо искать корни чисто светской беллетристики с характерным для нее вымышленным героем, описанием быта, эротическими сюжетами? Стендер-Петерсен отвечает на этот вопрос только обращением к переводной литературе и ее влиянию на оригинальную русскую прозу. Характеристика Саввы Грудцына как оригинальной комбинации русского Фауста с одним из вариантов чудес Марии и сравнение Фрола Скобеева с плутовским романом ведет Стендер-Петерсена к сопоставлению произведений русской литературы прежде всего с произведениями западными. Но является ли такое объяснение происхождения русской прозы XVII в. верным? Не следует ли прежде всего искать причин возникновения русской беллетристики в условиях жизни русского общества и в предшествующей русской литературе? Такая постановка вопроса кажется нам тем более закономерной, что сам Стендер-Петерсен говорит о влиянии на литературные сюжеты конкретных жизненных ситуаций. Говоря о Фроле Скобееве, он замечает, что история эта рассказана с такой великолепной достоверностью и такой реальной жизненной точностью, что можно предположить — новелла основана на реальном случае из скандальной хроники романовской Москвы (315). Остается пожалеть, что это предположение не нашло у Стендер-Петерсена своего развития, что автор не задался целью установить, лежал ли в основе сюжета о Фроле Скобееве какой-либо действительный случай или новелла основывалась уже на каких-то легендах о нем. Так в свою очередь снова возникает вопрос о фольклорной основе русской беллетристики.

Возможно, что при таком подходе и «Повесть о Горе-Злочастье» не показалась бы автору одинокой и оставшейся без последствий попыткой создать новый стиль и он смог бы найти в ней черты, связывающие ее с другими произведениями.

Мы далеки от того, чтобы отрицать важность переводной литературы и ее влияние на литературу оригинальную. Самый факт этого влияния бесспорен, как бесспорно и усиление роли переводной литературы во вто-

<sup>14</sup> В. П. Адрианова-Перетц. Русская демократическая сатира XVII в. Изд. АН СССР, М.—Л., 1954 (серия «Литературные памятники»), стр. 137—187 («У истоков русской сатиры»), стр. 221, 226, 280.

рой половине XVII в. Нам только кажется, что не следует эту роль преувеличивать. В связи с этим возникает сомнение во всесторонности рассмотрения Стендер-Петерсеном вопроса о переводной литературе. В его изложении русская литература и русский читатель пассивно воспринимают все те новые идеи и новые жизненные отношения, с которыми они знакомятся в произведениях переводной прозы, широким потоком хлынувшей на Русь в XVII в. Если первоначально переводы стремятся приспособить к привычным понятиям и вкусам, снабжая их концовками, проникнутыми религиозной моралью, то впоследствии русские переводчики пробуют делать произведения более понятными русскому читателю, пытаясь средствами русского языка передать непривычные ситуации и обстановку — детали рыцарского быта, турниры, эротические сцены, западноевропейскую куртуазность. И все это до неузнаваемости искажалось, подвергаясь московской переделке. Указывая на эту одну сторону дела, Стендер-Петерсен не касается другой, заключающейся в специфическом интересе русских читателей к тому, что именно переводилось на русский язык. На это обстоятельство обращал внимание еще в 1934 г. А. С. Орлов: «В проникновении западных повестей на Русь конца XVI—XVII вв. можно уследить известный выбор. Конечно, охотнее принимались повести, имевшие наибольшее сходство с повестями, уже существовавшими у нас, т. е. такие, которые содержали уже знакомый сюжет или знакомые подробности, отличались привычной формой и заключали в себе нечуждые идеи. Так, например, принимались анекдоты, притчи, жития, находившие себе параллели в патериках, прологах, минеях, принимались рыцарские романы, приемы и формулы которых не были чужды историческим повестям, книжным и словесным, принимались произведения о злых и добрых женах, типические характеристики которых уже с глубокой древности были у нас популярны».<sup>15</sup>

Таковы основные замечания, которые вызывает очерк «московского периода» русской литературы в книге А. Стендер-Петерсена. Можно отметить также ряд частных погрешностей в книге. Крайне неточно, например, утверждение, будто Куликовская битва 1380 г. «положила конец суверенному господству воинственных номадов над раздробленными русскими землями» (163) — власть Орды формально была ликвидирована не в конце XIV в., а сто лет спустя; неверно, что до XVI в. титул «царь» употреблялся только по отношению к византийским монархам (165), ибо этот титул на Руси постоянно применялся также к татарским ханам; нельзя утверждать, что Василий III «охотно одобрял» теорию Филофея о «Москве — третьем Риме» (165), а Иван IV, «конечно, читал» Пересветова (205), так как нам ничего не известно об их знакомстве с этими авторами; об иудее Схарии сообщает не летопись (167), а «Просветитель» Иосифа Волоцкого; осада Пскова, описанная в «Повести о приходе Стефана Батория», имела место не в 1577 (200), а в 1581 г., и т. д. Эти неточности и ошибки автора (как и другие, за которые ответственен не он сам, а ошибочная историографическая традиция),<sup>16</sup> не имеют большого значения для его труда. Гораздо существеннее недостатки основного построения книги: игнорирование социальных и идейных противоречий внутри

<sup>15</sup> А. С. Орлов. Переводные повести XII—XVII вв. Изд. АН СССР, Л., 1934, стр. 88.

<sup>16</sup> Так, автор утверждает, что Иван III получил в результате женитьбы на Софии Палеолог «не только византийский титул самодержца, но и герб» (165) и что Нил Сорский выступал против насильственных мер по отношению к еретикам (168). Эти положения часто встречаются в историографии, но они не подтверждаются источниками.

намечаемых им стилистических систем, стремление подчинить все изложение схеме смены «византинизма» «европеизмом», ограниченность репертуара разбираемых памятников.

В своей монографии «Человек в литературе древней Руси» Д. С. Лихачев справедливо отметил, что «когда-то литературоведы сводили все дело к смене влияний: византийские влияния сменились-де западными, русские писатели, подражавшие византийским, стали писать на образец западных. Казалось бы, надо было показать, в чем же отличался этот западный „образец“ от византийского, но вопрос этот исследован не был. Между тем, если бы он был изучен, стало бы ясно, что перелом в литературе не может быть сведен только к смене „влияний“ (хотя самый факт усиления в XVII в. западных влияний не может подлежать сомнению), что дело заключается в новом понимании задач литературы, в новых методах художественного обобщения, в другом понимании человека, сюжета, жанра и т. д.»<sup>17</sup> Приходится с сожалением отметить, что этот упрек, адресованный «старым литературоведам», может быть отнесен и к сравнительно недавно вышедшей монографии А. Стендер-Петерсена.

---

---

<sup>17</sup> Д. С. Лихачев. Человек в литературе древней Руси, стр. 119.